

суд



МИТРА ПАПИЛИН

Митра Папилин

Суд

«Автор»

2026

Папилин М.

Суд / М. Папилин — «Автор», 2026

Он вырос в доме, где его перестали искать, и в приюте, где научился ничего не ждать от людей. В сырой каморке под крышей петербургского доходного дома молодой человек выстраивает стройную теорию: если небеса глухи, грех — лишь выдумка для толпы, а свободу доказывает только поступок, после которого нельзя вернуться. Он совершает этот поступок и обнаруживает, что мир не заметил ни его бунта, ни его величия. Это исповедь человека, прошедшего путь от холодной гордыни через преступление, тюрьму и приговор к тому, что сам он не решается назвать иначе, чем воскресением. Рассказ о свободе, вине и о том, почему приговор, который человек выносит себе сам, страшнее любого судебного.

© Папилин М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

I. Детство	5
II. Перелом	7
Конец ознакомительного фрагмента.	8

Суд

I. Детство

Человеческая память лукава: там, где у нее провал, она охотно расставляет декорации. Оглядываясь теперь на начало своей жизни, я не раз пытался отыскать в нем те светлые проблески, которыми принято наделять младенчество, и рассудок услужливо подсовывал мне чужие картины: залитую солнцем детскую, чьи-то теплые руки, поправляющие на мне одеяло, запах ванили из кухни. Но стоило всмотреться пристальнее, как они распадались и выдавали свою сочиненность. Подлинное же мое детство вспоминается мне тяжелым сном, в действительность которого я и сам порой не вполне верю. Иногда мне кажется, что эти сырые, пахнущие штукатуркой воспоминания принадлежат не мне, а какому-то другому, давно исчезнувшему мальчику, с которым меня связывает только имя.

Пишу я это в остроге, по воскресеньям, на листках серой бумаги, которые достает мне наш писарь из поляков, и пишу, признаться, сам не зная для кого. Бог видит и так, а людям моя история ни к чему. Но есть вещи, которых не понимаешь, пока не выговоришь их до конца, хотя бы и на бумаге, и я хочу наконец понять, как из того мальчика вышел тот, кем я стал.

Я был ребенком тихим и рано приобрел ту особую наблюдательность, какая бывает у детей, обделенных теплом: они смотрят на взрослых, как смотрят на погоду, угадывая, откуда ждать беды. Все вокруг казалось мне огромным механизмом, враждебным и все-таки притягательным. Пока другие дети играли, меня тянуло к изнанке вещей, к тому, что взрослые стыдливо прятали по углам и от чего брезгливо отворачивались: к упавшему в траву яблоку, которое день за днем темнело и оседало, к раздавленному жуку, еще шевелившему лапками, к приглушенным звукам, доносившимся по ночам из родительской спальни, — я не понимал их и не хотел понимать, но слушал. В этом безобразии было для меня странное упоение, как будто, заглядывая под обивку мира, я узнавал о нем правду, которую от меня скрывали.

Долгие часы я проводил в добровольном затворничестве. В нашем старом доме, среди пыльных портьер и пахнущей нафталином мебели, было множество забытых углов; любимым моим местом была щель между стеной и платяным шкафом в коридоре, куда я, худой, пролезал боком, и еще чулан под лестницей, где пахло сухой штукатуркой и мышами. Там я замирал и превращался в невидимого соглядатая. Я слушал шаги и по шагам знал, кто идет и в каком расположении духа; слушал раздраженные голоса, звон посуды, хлопанье дверей — чужую жизнь, в которой для меня не находилось места. Иногда я пропадал так надолго, что в доме начинались поиски. Я слышал, как мать недовольно выкликает мое имя, растягивая последний слог, как тяжело и нехотя ступает по половицам отец, открывая и закрывая двери. В этих поисках не было страха потерять — только обязанность и досада на нарушенный порядок, и я, сидя в своей щели, понимал это с той безжалостной ясностью, с какой дети понимают все, что касается любви. С каждым разом меня искали все меньше, пока однажды не перестали вовсе: я просидел за шкафом до темноты, вышел сам, и за ужином никто не спросил, где я был. Много позже, пытаясь понять, откуда во мне взялось все остальное, я каждый раз возвращался мыслями туда, за шкаф.

Конец нашему семейному отчуждению наступил разом, в один вечер. Память сохранила его обрывками, без всякой связи: фонари городских и красноватые отсветы, мечущиеся по стенам гостиной; тяжелый топот сапог по персидскому ковру, по которому мать не позволяла ходить даже мне; резкий запах карболки от доктора и его помощников; чья-то мокрая шинель, брошенная на крышку рояля. Дом, прежде бывший моей замкнутой, пусть и равнодушной территорией, в один час превратился в проходной двор, в место происхождения. Родителей нигде

не было. Что именно случилось в тот вечер, я узнал много позже, из казенной бумаги, и пересказывать не стану; скажу только, что ни отец, ни мать из этого вечера не вернулись.

Помню молодую женщину — кажется, даму из попечительского общества, — которая присела передо мной, шурша юбками, и старалась заглянуть мне в глаза. На лице у нее, с бисеринками пота над верхней губой, была та привычная скорбь, которую люди подобных занятий надевают вместе с платьем для визитов. Она задавала бесконечные вопросы, трогала меня за плечи, старалась говорить мягко; но сквозь заученную интонацию проступал ее собственный испуг, и мне казалось, что ей хочется поскорее уйти из этого дома и вымыть руки. По лицам взрослых я видел, что они знают что-то страшное, от чего зависит вся моя дальнейшая жизнь, и прячут это за неловкими фразами. Их жалость оскорбляла меня: в ней я был не человеком, а досадным живым придатком к катастрофе, который надо куда-нибудь деть. Уходя, дама сунула мне в руку леденец в бумажке. Я долго держал его в кулаке не разворачивая, пока он не размяк, а потом, когда никто не смотрел, бросил за печку.

Меня отдали в приют, и с того дня, когда его двери закрылись за моей спиной, началось мое полное сиротство. Я оказался там, где каждый был занят только тем, чтобы выжить, и где слабого не жалели, а примечали. Помню мальчика по фамилии Гвоздев, рыжего, с вечно обметанными губами, который в первую же мою неделю отнял у меня за ужином хлеб — без всякой злобы, просто потому, что мог. Я не стал ни драться, ни жаловаться надзирательнице. Я смотрел, как он ест, и внутренний голос спокойно объяснял мне, что так устроено все: у кого можно отнять, у того отнимают, а жаловаться — значит признаться, что ты еще на что-то надеялся. Через год Гвоздев умер от скарлатины. Его кровать у окна на другой же день занял новенький, и никто, включая меня, больше о нем не вспомнил. Я потом долго держал этот случай в памяти как доказательство того, что мир не замечает, когда из него убывает человек.

Именно там, в гулкой тишине общих спален, под кашель и сонное бормотание тридцати чужих детей, во мне окончательно сложился внутренний наблюдатель, который с тех пор меня уже не покидал. Я называю его так за неимением лучшего слова; это был голос, мой и вместе не мой, холодный, насмешливый и очень умный. Он разбирал каждое мое чувство, высмеивал малейший проблеск надежды и терпеливо, как учитель арифметики, доказывал бессмысленность всякой человеческой привязанности. Спорить с ним я не умел, да и не хотел: он ни разу еще не ошибся.

Из этого внутреннего разговора я вынес мысль, казавшуюся мне тогда неоспоримой: мир, который со стороны выглядит сплетением связей, на деле есть огромное скопление одиночек. Все эти люди, спешащие по улицам, целующиеся в парадных, клянущиеся в верности и плачущие над чужими могилами, отделены друг от друга, как арестанты в одиночных камерах, которые перестукиваются через стену и никогда не видят лиц. Каждый носит в себе свою темную комнату, свой тайный страх и мечтает лишь об одном — закрыть глаза и никогда больше не соприкоснуться с чужой душой. Поняв это, я перестал искать сочувствия. Я принял правила игры и возвел свое одиночество из несчастного обстоятельства в сознательную философию. Мне было тогда пятнадцать лет, и я очень гордился своим открытием; куда оно меня уведет, я, разумеется, не подозревал.

II. Перелом

Из приюта меня выпустили семнадцати лет, с узелком казенного белья и бумагой в университет, которую выхлопотал для меня кто-то из попечителей, — я так и не узнал, кто, и ни разу не поблагодарил. Предоставленный самому себе в огромном городе, я поселился в крошечной комнате под самой крышей доходного дома у Екатерининского канала, за которую платил четыре рубля в месяц, когда было чем платить. Годы, следовавшие за этим, слились в одно медленное омертвление. Учение, служившее единственным предлогом для моего пребывания в столице, скоро превратилось в механическую повинность: я ходил на лекции, записывал, сдавал, но ни одна прочитанная страница не задевала во мне ничего живого. Каждое утро, просыпаясь под низким провисшим потолком в желтых подтеках, я отчетливо отмечал свое состояние: там, где прежде робко теплились остатки детского любопытства, теперь не было ничего. Но это ничто имело вес; оно давило на грудь, мешало дышать и подчиняло своему тяготению всякое мое движение, так что иной раз я по часу сидел на кровати с сапогом в руках, не находя в себе сил его надеть.

Окружающее перестало вызывать во мне даже подобие отклика. Спускаясь каждый день по стертым каменным ступеням и вливаясь в поток куда-то спешащих людей, я чувствовал себя тенью, которую по недосмотру забыли убрать с улицы. Лица прохожих — я видел в них мелкую алчность, похоть, тупой страх перед завтрашним днем — сливались для меня в одно лицо, серое и одутловатое, как у человека, который дурно спал. Я медленно угасал и не противился этому, позволяя вязкой, однообразной жизни затягивать меня все глубже. Сознание мое, отгородившись от всякого сострадания, сделалось чем-то вроде стекла, сквозь которое я с педантичностью безумца наблюдал, как человек мельчает и падает. Квартирная хозяйка, вдова мелкого чиновника, по утрам приносившая мне жидкий чай, через месяц перестала со мной заговаривать, и я был ей за это благодарен.

Незаметный излом, после которого возврата к прежней, стесненной нравственными рамками жизни уже не было, пришелся на один из промозглых октябрьских вечеров, когда воздух в Петербурге кажется пропитанным мокрой сажой, а первый снег, не долетая до земли, превращается в слякоть. Возвращаясь в свою каморку после очередного бессмысленного дня, я свернул, чтобы сократить дорогу, в узкий, плохо освещенный переулок между глухими брандмауэрами. Туман скрадывал очертания предметов, и шаги мои звучали в нем глухо, как в вате.

Там, в тусклом свете одинокого газового рожка, мне преградила путь толпа изрядно выпивших людей — должно быть, их только что выставили из какого-нибудь заведения поблизости. Их было около дюжины: мастеровые, двое или трое в чиновничьих шинелях, какой-то барин в распахнутой шубе, женщины в платках и одна в шляпке с мокрым, обвисшим пером, — и все они были спаяны в эту минуту одним иступлением, которое стирало всякие различия. Они двигались неровной массой, и от них несло дешевой водкой, немытым телом и давней, наконец прорвавшейся злобой. Крики, стоны и бессвязный хохот отскакивали от мокрых кирпичных стен. Они толкали друг друга, падали в грязь, поднимались, хватаясь за чужую одежду, и бранили каждого, кто оказывался рядом; какую-то старуху с корзиной сбили с ног, и она долго шарила руками в луже, собирая рассыпанный лук.

Я остановился в тени подворотни, не в силах оторваться от этого зрелища. Воображение тотчас нарисовало мне их завтрашнее пробуждение. Завтра эти воюющие существа очнутся в своих холодных постелях, с тяжелыми головами и пересохшими ртами; будут отводить воспаленные глаза, мучительно припоминая подробности ночного позора; будут заискивать перед начальством, бормотать женам извинения и снова натягивать на себя тесное платье добропорядочных граждан. Завтра они вернутся в стойло своей расписанной по часам несвободы — и будут, пожалуй, осуждать других за пьянство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.